

ПОСЛЕДНИЙ ВДОХ



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Последний вдох

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Последний вдох / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Адам Реми — учёный и лицо проекта «Жатва», восемь лет повторявший миру: «Мы научим океан дышать глубже». Удобрение Тихого океана железом запустило колоссальное цветение фитопланктона. Кривая Килинга впервые за тридцать лет дрогнула и пошла вниз; с орбиты бирюзовое пятно выглядит как исцеление планеты. Адама называют человеком, согнувшим кривую. В первый же вечер триумфа приходит голосовое от старого учителя, которого Адам два года назад растоптал на совете: цветение рухнет и выпьет кислород из океана. На другом конце мира пятнадцатилетняя дочь Адама в высокогорном Ла-Пасе ведёт «дневник воздуха» и первой замечает: его становится меньше. Повесть о цене аплодисментов и о праве дышать.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Жатва	5
Часть вторая. Винное море	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Последний вдох

Часть первая. Жатва

1

С орбиты это выглядело как исцеление.

Адам стоял в кают-компании «Персефоны» и смотрел на снимок, пришедший по спутнику час назад. От перуанского шельфа на запад, в холодную синь Тихого, расплзалось зелёное пятно — живое, светящееся, размером с небольшую страну. Хлорофилл. Триллионы клеток, которых год назад здесь не было ни одной. Каждая из них дышала так, как он научил её дышать: тянула углерод из воздуха и отдавала назад кислород.

Восемь лет он повторял эту фразу — на грантовых комиссиях, в студиях, под софитами, в постели, пока ещё было кому. *Мы научим океан дышать глубже.* Теперь она висела перед ним на экране, зелёная и неоспоримая, и он впервые позволил себе поверить, что был прав. Не прав в споре — прав вообще, в самой большой ставке, какую делал человек. Углекислый газ уходил из атмосферы со скоростью, которую полгода назад называли фантастикой. Кривая Килинга, тридцать лет лезшая вверх, дрогнула и пошла вниз. Они согнули её. Он согнул.

— Тебя ждут наверху, — Салас просунула голову в дверь. Молодая, в флисовой куртке с эмблемой проекта, с планшетом под мышкой. — Орн открыл вторую бутылку. Говорит, без лица проекта не наливает.

— Лицо проекта сейчас будет, — сказал Адам и поймал в тёмном стекле иллюминатора собственное отражение: улыбка уже включилась, отрепетированная, ровная, та самая, что хорошо ложилась в кадр. Он и не заметил, как это вышло. За восемь лет улыбка выучилась включаться сама.

На палубе пахло солью, дизелем и шампанским из пластиковых стаканов. Десяток человек команды, обычно сдержанных до угрюмости, сейчас гомонили у борта и снимали воду на телефоны. И было на что. Под низким солнцем океан вокруг «Персефоны» отливал бирюзой — не своей, обычной, серо-стальной для этих широт, а курортной, неправдоподобной, как в рекламе. Цвет жизни. Цвет, который они вырастили.

Адам взял у кого-то стакан и подошёл к лееру. Отсюда, с воды, чуда не было видно так, как с орбиты, — был только бесконечный бирюзовый блеск до самого горизонта, мерное дыхание зыби и ощущение, что он стоит на чём-то живом и огромном, что они разбудили.

Где-то на берегу это уже праздновали — не так, как здесь, не десятком продрогших людей с пластиковыми стаканами, а площадями. Полтора месяца назад вышел предварительный отчёт по углероду, и мир, восемь лет живший под медленным приговором, впервые выдохнул. Заголовки кричали словом, которого он ждал всю карьеру: ПЕРЕЛОМ. Биржи квот штормило. В двух столицах назначили дни благодарения. Подростки выкладывали ролики, где наливали в стакан газировку и говорили: вот столько углерода «Жатва» вынула из неба за неделю, — а он, лицо «Жатвы», получал по триста писем в день от людей, называвших его именем новорождённых.

Восемь лет назад его не пускали и на вторые роли. Удобрить океан железом, вырастить планктон и заставить его выпить углерод — тогда это звучало как мания, красиво на бумаге, самоубийственно на практике, так говорили все осторожные люди, у которых были кафедры и не было смелости. Он помнил каждое закрытое заседание, каждое «коллега, это безответственно», каждый грант, ушедший мимо. И помнил день, когда Орн — единственный, у кого хватило веса и аппетита, — сказал ему: мир не спасают осторожные, идём. Они пошли. И

теперь океан под ним горел цветом, которого здесь не бывало от сотворения, и цвет этот был виден из космоса, и согнул кривую он, Адам Реми, тот, кого не пускали на вторые роли.

Документалисты, которых коалиция возила с собой третий месяц, снимали сейчас закат и бирюзу, чтобы потом подложить под это музыку и его голос за кадром. Он уже видел этот неняный фильм: человечество, дойдя до края, не сдаётся, а берёт свою судьбу в руки. В центре кадра будет он. Не Орн, который стар. Он.

И во всей этой полной, тёплой, заслуженной правоте было ровно одно неудобное место — тонкая ржавая полоса на юго-восточной кромке. Но об этом потом. Сегодня вечером, он уже решил, в логе только хорошие новости.

— Адам. — Салас опять оказалась рядом, и в голосе её не было праздника. Она держала планшет так, чтобы видел только он. — Прежде чем ты пойдёшь к Орну. Седьмой квадрант.

На экране — кривая растворённого кислорода. В шести квадрантах она держалась высоко, на гордой полке перенасыщения: цветение качало кислород в воду быстрее, чем тот успевал уходить. А в седьмом, у юго-восточной кромки пятна, кривая надломилась и пошла вниз. Не качнулась — пошла. И рядом, на врезке со спутника, у той же кромки темнела узкая полоса другого цвета. Не бирюза. Что-то ржавое, винное, будто в воду пустили струю разбавленной крови.

— Сколько так? — спросил Адам.

— Третьи сутки. Я думала, дрейф датчика. Перекалибровала буй — то же самое. Кислород падает, и эта полоса растёт. — Она помолчала. — Я хотела внести в вечерний лог.

Над ними, у надстройки, Орн поднял бутылку и что-то крикнул — слов не разобрать, но интонацию Адам знал наизусть: иди сюда, герой, тебя ждут. Где-то снимала камера. Завтра этот кадр уйдёт в сеть, в новости, в учебники. *Кривая, которую согнули*. Восемь лет.

— Это кромка, Тереза, — сказал Адам, и собственный голос показался ему очень ровным, очень разумным. — На кромке всегда турбулентность, смешение слоёв, локальные провалы. Один квадрант из семи. Перекалибруй ещё раз, утром сверим с дрейфующими буями. — Он чуть улыбнулся ей, по-доброму, как улыбаются толковому, но слишком ретивому студенту. — И не клади это в вечерний лог. Сегодня вечером в логе только хорошие новости. Заслужили.

Ещё секунду она не двигалась. Потом кивнула — не согласием, а тем коротким кивком, каким младший принимает решение старшего, — и опустила планшет.

И тогда он это почуял. Под солью, под дизелем, под сладким спиртовым духом шампанского — едва-едва, на самой кромке обоняния — тонкую гнилостную ноту. Органика. Что-то начинало портиться где-то там, за бортом, в винной полосе на юго-востоке. Ветер донёс и тут же унёс.

— Реми! — заорал Орн уже в полный голос, и палуба засмеялась.

Адам поднял стакан в ответ и пошёл к ним, к свету, к камере. Гнилостная нота осталась за спиной, и он велел себе её забыть. На сегодня в логе только хорошие новости.

2

— Когда меня не станет, — сказал Орн, — всё это будет твоим.

Они стояли чуть в стороне от остальных, у тёмной стороны надстройки, где не доставал свет фонарей. Виктору Орну было шестьдесят восемь, и он носил их так, как богатые люди носят дорогие часы — небрежно, на виду. Соломенно-седой, крупный, с лицом, которое камеры любили за прямооту, он держал стакан, не пил из него и смотрел на воду тем взглядом, каким смотрят на собственность.

— Коалиция, — продолжил он. — Имя. Доступ. Ухо у тех, у кого надо иметь ухо. Я строил это сорок лет, Адам. И я не вижу вокруг никого, кому это можно отдать, кроме тебя.

Это следовало бы выслушать со скромностью. Адам знал, как это делается, — он умел опускать глаза, умел говорить «вы преувеличиваете, Виктор». Но внутри у него поднялось горячее, жадное, как глоток спирта, и он не стал его гасить. Сорок лет. Имя, которое произно-

сят на закрытых слушаниях. Человек, который согнул кривую и спас мир, — а теперь ещё и тот, кому передали ключи.

— Я не собираюсь вас никуда отпускать, — сказал он вслух, ровно то, что следовало.

Орн коротко хохотнул.

— Все так говорят. — Он наконец отпил. — Знаешь, что в тебе ценно? Не мозги. Мозгов на свете много. В тебе ценно, что ты доводишь. Начинаешь — и доводишь до конца, чего бы это ни стоило. Большинство умных людей трусят на пороге. Думают: а вдруг я ошибаюсь. И стоят перед дверью всю жизнь. — Он повернулся к Адаму, и в полутьме глаза его блеснули. — А тыходишь.

А тыходишь. Адаму было сорок четыре, и всю жизнь он входил — потому что один человек, давно, всегда стоял перед дверью. Отец. Человек великих замыслов и недоделанных гаражей, незаконченных диссертаций, проектов вечного двигателя, которые он бросал на середине, всегда зная лучше всех и никогда не доводя ни до чего. Адам вырос среди этих руин и поклялся стать его противоположностью: тем, кто доводит. Тем, кто спасает, а не ломает.

— Завтра придут цифры по углероду за квартал, — сказал Орн. — Если они такие, как я думаю, мы перестанем быть экспериментом. Мы станем тем, как теперь чинят планету. — Он положил тяжёлую ладонь Адаму на плечо. — Не дай никому это испортить. Ни паникёрам, ни перестраховщикам. Ты знаешь, о ком я.

Адам знал, о ком он. Но в эту минуту, под чёрным небом, с винной полосой, забытой где-то за кормой, он только кивнул.

3

В каюте он дождался окна связи и набрал Ла-Пас.

Картинка собралась из квадратиков не сразу — высокогорный город всегда отдавал интернет неохотно, по капле. Сначала возникла лампа, потом угол комнаты с вязаным пледом, потом — Ива. Пятнадцать. Тёмные волосы матери, его упрямый подбородок, наушники на шее. За её спиной в окне стоял разреженный, слишком яркий свет Ла-Паса — свет города, висящего на высоте трёх с половиной тысяч метров, где небо ближе и злее.

— О, — сказала она. — Живой.

— И тебе привет, — сказал Адам.

— Ты в новостях, — Ива чуть повернула планшет, показывая на свой второй экран. — Бирюзовое море. Бабушка десять раз пересмотрела. Говорит соседям, что её зять спас мир. — Пауза. — Я ей не сказала, что ты уже не зять.

Укол был привычный, почти ласковый — так она проверяла, держит ли он удар. Он держал.

— Как ты? — спросил он. — Как лёгкие?

Она пожала плечами — жест, в котором было больше, чем в любых словах.

— Нормально. — И, потому что он молчал и ждал, нехотя добавила: — Ингалятор чаще беру. Но это, наверное, сезон. Сухо очень. Воздух последнее время... не знаю. Станный.

— Станный — это как? — Он спросил это легко, всё ещё на той высокой, праздничной волне, на которой пробыл весь вечер.

— Как будто его меньше, — сказала Ива. Сказала и сама усмехнулась нелепости. — Глупо звучит. Бабушка говорит, я просто мало хожу. Заставляет меня по лестнице вверх-вниз. Я считаю ступеньки, она считает мои вдохи. — Она закатила глаза. — Весело тут у нас.

— Это высота, — сказал он. Сказал уверенно, тем самым голосом, которым весь вечер объяснял всем всё. — На высоте всегда так осенью кажется. Пей больше воды. И слушай бабушку.

— Угу. — Она смотрела на него с экрана, и в её глазах было что-то, чего он не разобрал и не стал разбирать, потому что был сегодня прав во всём. — Ну, спасай дальше мир. Спокойной ночи, герой.

Связь оборвалась раньше, чем он успел сказать, что любит её. Окно закрылось. Он сидел в тёмной каюте и слышал в ушах не её слова, а тонкий присвист на вдохе — тот, что он различил даже сквозь сжатый цифровой звук. Всю жизнь он узнавал этот присвист из любого шума. Но сегодня списал его на высоту и спутниковый канал и сразу забыл.

4

Сообщение от Восса пришло перед самым отбоем.

Адам увидел имя — *T. Восс* — и его палец завис над экраном. Они не разговаривали два года. Два года назад Адам сделал то, после чего не разговаривают: на большом, транслируемом совете, перед всеми, кто решал судьбу проекта, он встал и спокойно, по пунктам, разобрал Восса на части. Старые данные. Выборочная статистика. Алармизм, тормозящий единственный шанс человечества. Он не лгал — он просто построил каждую правду так, чтобы от Восса ничего не осталось. И от Восса ничего не осталось. Гранты ушли. Имя стало синонимом паники. А заодно — Адам узнал об этом позже — ушла Майя, потому что смотрела из зала, как он топил её учителя, и поняла про мужа что-то, чего нельзя развидеть.

Это было голосовое. Длинное. Он включил.

— Адам. — Голос Восса постарел; в нём была усталость человека, который слишком долго читал то, чего никто не хотел видеть. — Не вешай трубку, дай мне минуту, потом делай что хочешь. Я смотрю на твои же открытые данные. Растворённый кислород на юго-восточной кромке. Ты их видишь, я знаю, что видишь. Это не дрейф датчика, мальчик. Это начало.

Адам стоял у иллюминатора. За стеклом была чёрная вода. Где-то на юго-востоке — невидимая в темноте винная полоса.

— Цветение не может быть вечным, — продолжал Восс. — Оно сожрёт питательные вещества и рухнет. А когда оно рухнет, вся эта мёртвая биомасса начнёт разлагаться, и разложение выпьет из воды кислород. Весь. Ты сделал не лёгкие, Адам. Ты сделал бомбу замедленного действия размером с океан. И есть ещё одно. Я два года картирую один организм, пикопланктон, который... — голос на секунду оживился, в нём прорезался прежний Восс, азартный, влюблённый в свою науку, — ...который не умирает в бескислородной воде. Который держит весь цикл. Если он уйдёт под этой дрянью, перезапустить будет нечем, и тогда...

Адам остановил запись.

Он стоял перед тёмным стеклом, и в стекле стоял он сам — без улыбки, в кои-то веки без неё. Он знал цифры седьмого квадранта. Он три минуты назад слышал присвист в дыхании дочери. Он чуял за бортом гнилоствную ноту.

И он знал, что если оставит это сообщение, то завтра не сможет выйти к камере и сказать, что согнул кривую. Что человек, которого он публично уничтожил два года назад, окажется правым на глазах у всех, кто видел, как Адам его уничтожал. Что дверь, в которую он вошёл, ведёт не туда.

Он стоял с планшетом в руке, и две версии его самого глядели на него из тёмного стекла. Одна говорила голосом Восса, спокойным и страшным: проверь. Подними тревогу сейчас, ночью, пока цифра в одном квадранте, а не в семи. Останови выгрузку удобрения, разверни суда, скажи Орну правду. Будет скандал, будет позор, тебя назовут паникёром, как ты назвал Восса, — но если старик прав, ты успеешь.

Другая говорила его собственным голосом, тем, медийным, отрететированным: один квадрант из семи, кромочная флуктуация. У тебя нет доказательств — есть встревоженный старик с дурной репутацией, которую ты сам же ему и устроил. Подними сейчас панику, а окажется турбулентность — и конец. Конец проекту, конец кривой, конец всему, ради чего восемь лет. А подождёшь до утра, сверишь с буями — может, всё рассосётся само, и завтра ты выйдешь к камере, и мир будет твой.

Он знал, который из голосов прав. Знал так же ясно, как знал присвист в дыхании дочери. Но правый голос вёл в темноту, в позор, в признание, что растоптанный им человек был прав,

— а другой вёл к свету и к камере. И впервые в жизни Адам поступил не как тот, кто доводит, а как тот, от кого он всю жизнь бежал: как отец, который знал лучше всех и выбрал не смотреть.

Палец сам нашёл нужное. *Удалить. Удалить навсегда.* Экран спросил, уверен ли он. Он был уверен.

Адам выключил планшет и долго стоял в темноте. Потом, уже отворачиваясь от иллюминатора, краем глаза поймал на воде блик. Луна вышла из-за облака, и в её свете океан под бортом был уже не чёрным. У самой кромки света, там, где зыбь подходила к корпусу, вода отдавала ржавчиной — слабо, едва-едва, как старое пятно крови на ткани, которое уже не отстирать.

Он сказал себе, что это луна. И пошёл спать.

Часть вторая. Винное море

5

Через девятнадцать дней он стоял на берегу рыбацкого городка под названием Чимботе и смотрел на то, что осталось от моря.

Оно было винным. Не у кромки, не полосой — всё, до горизонта, под низким серым небом, океан лежал тёмно-бордовый, густой на вид, как разбавленное вино, и не блестел. Зыбь шла по нему вяло, словно вода загустела. Бирюза, которой две недели назад любовался мир, исчезла без следа — будто кто-то слил живую воду и налил мёртвую.

А на берегу лежала рыба.

Не сотни. Берег был вымощен ею до самого мыса в обе стороны — серебристое крошево, уже не серебристое, а тускнеющее, в три, в четыре слоя, чешуя к чешуе, выпуклые мёртвые глаза в небо. Анчоус, сардина, ставрида, рыба покрупнее, неразличимая в общей массе. Прибой выносил всё новую, накатывал и оставлял её на песке аккуратными рядами, как сеятель. Местами шевелились крабы. Над всем этим стоял запах — плотный, сладко-гнилостный, тот самый, что он две недели назад поймал на кромке обоняния и велел себе забыть. Теперь его нельзя было забыть. Он въедался в горло, в одежду, в самый череп.

Чайки и бакланы пиروвали вдоль всей кромки. И вот что было неправильно — Адам не сразу понял, что именно, а поняв, не смог уже развидеть: птицы тоже падали. Не все, не сразу. Но то одна, то другая, нажравшись у воды, вдруг словно теряла нить, делала несколько неверных шагов в сторону от моря и оседала на песок, и больше не вставала. Будто что-то поднималось от винной воды и от гниющей рыбы, что-то невидимое, и выбирало, кому ещё ходить, а кому уже нет.

Рядом стоял местный чиновник в маске и что-то говорил в телефон по-испански, быстро, испуганно. Дальше по берегу телевизионная группа снимала рыбу крупным планом. Кто-то плакал. Кто-то стоял, как стоят люди, у которых отняли единственное, и они ещё не нашли этому слова.

Старик в резиновых сапогах стоял у самой воды, по щиколотку в мёртвой рыбе, и не двигался. Лодка его лежала на песке, вытасченная и ненужная: выходить было некуда и не за чем. Он не плакал и не снимал на телефон. Он смотрел на багряную воду, в которой ловил всю жизнь и в которой ловил его отец и которая за две недели стала вот этим, — и на лице у него было выражение человека, у которого отняли не работу, а самую ткань мира, ту, что считаешь вечной, пока она есть. Адам на секунду поймал его взгляд — и отвёл. Полтора месяца назад он стоял на палубе и думал о фильме, который про него снимут: как человечество взяло свою судьбу в руки. Вот оно, человечество. Стоит по щиколотку в мёртвой рыбе и смотрит на отравленное море. А судьбу за него взял в руки он — Адам Реми, на закрытых совещаниях, одной подписью, ради кривой, которую согнул.

— Это не сбой, — сказала Салас.

Она прилетела с ним, в той же флисовой куртке, и за две недели в ней что-то закрылось. Она держала перед собой планшет, но теперь не показывала ему цифр. Цифры были вокруг, в три слоя, до самого мыса.

— Цветение рухнуло во всех квадрантах за восемь дней, — сказала она тихо, глядя на воду, а не на него. — Биомасса разлагается. Растворённый кислород на шельфе — у дна почти ноль. Это мёртвая зона, Адам. Она была сорок миль в поперечнике неделю назад. Сейчас сто десять. — Она наконец повернулась к нему. — Я внесла это в лог. В этот раз — в лог.

Адам открыл рот, и привычка, восемь лет служившая ему верой и правдой, попыталась подсунуть фразу. *Локальное явление. Кромочная аномалия. Система самокорректируется.*

Слова стояли наготове, ровные, разумные. Он закрыл рот, не сказав их. Перед ним на песке в четыре слоя лежало доказательство того, что разумные слова больше ничего не весят.

В двадцати шагах ещё один баклан сделал свои несколько неверных шагов от воды и лёг.

6

— Мы не будем называть это коллапсом.

Орн стоял спиной к окну гостиничного номера, превращённого в штаб, и в окне за ним был тот же винный океан. На столе — раскрытые ноутбуки, кто-то из коалиции по связи из трёх городов сразу, переговор наслаивался на переговор. Орн был, как всегда, спокоен, и от этого спокойствия в комнате становилось теплее, надёжнее — Адам поймал себя на том, что хочет в него поверить.

— «Коллапс» — это слово, после которого начинается паника, — продолжал Орн, обращаясь ко всем и ни к кому. — А паника убьёт больше людей, чем газ. Мы говорим: «локальный замор», «естественная коррекция цветения», «явление, известное на этом побережье десятилетиями». Здесь и правда случались заморы. Мы не лжём. Мы выбираем рамку.

— Здесь случались заморы на десять миль, — сказал Адам. — Это сто десять. И растёт. Орн посмотрел на него — без злости, почти с нежностью.

— Адам. Через два дня выходит квартальный отчёт по углероду. Знаешь, что в нём? Лучшие цифры в истории климатологии. Мы вытащили из атмосферы столько CO₂, сколько не снилось ни одному соглашению. — Он шагнул ближе. — Если мы сейчас выйдем и скажем «мы сломали океан», никто не услышит вторую половину фразы. Никто не услышит, что мы спасли воздух. Услышат только «сломали». И тогда нас остановят, и всё, что мы можем ещё сделать, чтобы это исправить, — тоже остановят. Ты понимаешь? Молчание сейчас — это не трусость. Это окно, чтобы успеть починить, прежде чем нам свяжут руки.

Это было разумно. Это было так разумно, что Адам почти кивнул.

И в эту секунду по комнате прошёл запах.

Тонкий, новый, не похожий на сладкую гниль рыбы. Резкий, химический, узнаваемый из школьной лаборатории — тухлые яйца. Сероводород. Он втянулся в окно с моря, дохнул и пропал. Один из людей коалиции на экране закашлялся. Кто-то невольно зажал нос.

А внизу, на улице, поднялся крик.

Адам подошёл к окну. На набережной, в низком месте у спуска к воде, где всегда стояла лужа после прилива, собралась толпа. В центре её на земле лежал человек — рыбак, судя по робе, — и не двигался. Над ним суетились, кто-то тянул его за руки прочь от воды, вверх по склону, на воздух. Газ, тяжелее воздуха, натёк в низину и лёг в ней озерцом, невидимый, и человек вошёл в него, не зная, и сделал один вдох, которого хватило.

Орн тоже подошёл к окну и постоял рядом, глядя вниз. Лицо его не дрогнуло.

— Закрывать низкие участки набережной, — сказал он ровно, в комнату, не оборачиваясь. — Официальная версия — утечка канализационного газа. Это, в общем, недалеко от правды. — Он положил руку Адаму на плечо, как тогда, на палубе. — Видишь? Уже паника. Уже жертва. Мы должны держать рамку, Адам. Особенно теперь.

Адам смотрел вниз, на тело, которое наконец вытащили из низины на склон, и думал о том, что две недели назад он велел Салас не вносить цифру в лог. Он держал рамку. Он держал её уже две недели. И вот она, рамка, лежит на набережной и не дышит.

7

[ИНТЕРЛЮДИЯ: ИВА]

День одиннадцатый. Утром на градуснике у бабушки — нормально. На моём приборе для воздуха — 84. Вчера было 86. Месяц назад было 91. Прибор китайский, врёт, наверное. Но врёт он в одну сторону.

Ива сидела на полу в коридоре, привалившись к холодной стене, потому что внизу воздуха почему-то было чуть больше, и записывала в блокнот. Блокнот она завела две недели

назад и назвала про себя дневником воздуха. Туда шли цифры с прибора, который она выпросила у соседа-радиолюбителя, её собственные вдохи за минуту в покое, цвет неба по утрам и то, сколько пшиков из ингалятора она потратила.

С ингалятором у неё была система. Она придумала её сама, когда поняла, что в аптеках на Сопокачи их больше нет, а в той, что на Майоре, дают по одному в руки и очередь с шести утра. Система была простая: терпеть до последнего. Считать. Раньше, едва защемит в груди, она сразу пшикала. Теперь она садилась, упиралась лбом в колени и считала — медленно, по бабушкиному способу, который та привезла из своей деревни: *уно... дос... трес...* — до двадцати, до тридцати, до сколько выдержит, чтобы прибор экономии хватило ещё на день, ещё на полдня. И только если совсем темнело в глазах — короткий, скупой вдох из баллончика. Полпшика. Полжизни.

День одиннадцатый, позже. Считаю до тридцати четырёх — потом пшикаю. Вчера до тридцати. Я тренируюсь. Как будто можно натренироваться дышать меньше. Бабушка говорит, горы всегда учили нас жить на нехватке. Говорит это и при этом смотрит на меня так, что я знаю: ей страшно.

Лусия вошла в коридор с двумя кружками мате-де-кока и села рядом, на пол, кряхтя. Маленькая, прямая, в кофте с вышитыми краями, с лицом, в каждую морщину которого было вписано шестьдесят лет этой высоты. Она поставила кружку дочери своей дочери на пол и сказала ровно:

— На рынке сегодня не было половины людей. И в церкви свечи горят плохо. Падре думает, воск отсырел. — Она отпила. — Воск не отсырел, Ивита.

Ива посмотрела на неё.

— А что тогда?

— Не знаю. — Лусия не отвела глаз; врать она не умела и не считала нужным. — Но я живу здесь всю жизнь. И воздух так себя не вёл никогда. Раньше тяжело было только приезжим. Туристам, которые падали в обморок у собора. А нам — нет. Мы были как ламы, мы умели. — Она помолчала. — А теперь тяжело и мне.

И вот это было хуже всего. Не цифры на приборе, не пустые аптеки, не очереди в клинику, мимо которой Ива проходила утром и видела, как она разбухает, как людей выкладывают уже на улице, под навесом, с трубками в носу. Хуже всего было, что бабушка — которая поднималась на этот холм с поклажей, когда Иве было плохо от одной лестницы, — сказала, что теперь тяжело и ей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.